

**Премия Русского Гулливера
2015**

FLASH STORY



АНТОЛОГИЯ
короткого рассказа

Коллектив авторов

Антология короткого рассказа

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27051989

Антология короткого рассказа:

ISBN 978-5-91627-172-0

Аннотация

Жанр короткого рассказа незаслуженно обойден вниманием издателей и литературных премий, хотя именно он максимально соответствует динамике времени. Краткость не тождественна ограниченности. Иногда роман – это плохо отредактированный рассказ. Составляя этот сборник, мы пытались двигаться от сложного к простому, от витиеватого к лаконичному, от глубокомысленного к пронзительному. Антология собрана по итогам премии издательства «Русский Гулливер» Flash-story 2015. Составители: Дмитрий Калмыков, Лера Манович, Фарид Нагим, Алексей Остудин, Владислав Отрошенко.

Содержание

Ованес Азнаурян	5
Екатерина Али	10
Алексей Антонов	13
Заир Асим	21
Антон Барышников	26
Шампанское	26
Дом	29
Репортёр	31
Никто	34
Март	38
Envoi	42
Ирина Батакова	44
Ольга Батлер	51
Владимир Березин	60
Дарья Бобылева	69
Марина Воробьева	77
Виктор Ген	81
Анатолий Головков	83
Ася Датнова	93
Москва – Душанбе	94
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Антология короткого рассказа

Премия Русского Гулливера учреждена в 2014 году Центром современной литературы, издательским проектом «Русский Гулливер» и мультимедийным журналом «Гвидеон». Премияльный сезон 2015 года был посвящён малой прозе, премия была вручена в двух номинациях: «короткий рассказ» и «проза поэта».

Всего на рассмотрение поступило 2596 рукописей, большую часть которых составили тексты, самостоятельно выдвинутые авторами; для некоторых авторов эта книга стала первой бумажной публикацией.

География премии в 2015 году расширилась: в конкурсе участвовали русскоязычные авторы из России, стран СНГ, Европы, США, Израиля, Африки и Австралии.

Ованес Азнаурян

Парон¹

Он дал кличку своей собаке – Парон. И обращался на «вы». А иногда к кличке добавлял еще слово – в основном имя, или профессию, или должность того, на кого он сердился – а он всегда на кого-то сердился, хоть и был не злой человек. И собака это сносила стоически, терпела и не обижалась. Чаще всего он сердился на старую женщину, тетю Седу, которая продавала во дворе нашего дома, где жил и Гиж² Сако, соления в ведрах, и угощала огурчиками Парона. А он сердился и кричал на собаку:

– Господин Седа, пойдем в парк какать! Вам же нельзя есть соленых огурчиков! Вас от них пучит! И жажда замучает!

Гиж Сако недавно исполнилось пятьдесят. Он никогда не был женат, говорят, был неплохим химиком (до 93-года работал в каком-то химическом НИИ), но потом, оказалось, что он действительно параноик, о чем тогда лишь смутно догадывались сослуживцы Сако. Если до 91-го года ему казалось, что за ним следит КГБ, то после развала Союза он был уверен, что американские спецслужбы охотятся за ним и же-

¹ Парон (арм.) – господин

² Гиж (арм.) – сумасшедший, безумец

лают увезти в далёкие далёка. Химический НИИ закрылся в январе 93-го года, и с тех пор Гиж Сако больше нигде не работал. Мать, тетя Аршалуйс, выбила для сына инвалидность, по которой он стал получать небольшую пенсию, и спокойно умерла во сне в августе 95-го года. Пять лет Гиж Сако целыми днями слонялся по улицам нашего города, присоединялся к разным митингам, подсаживался в кафе к разным полужнакомым, которые угощали его кофе и водкой и заставляли петь детские песни из мультиков и гоготали, когда Гиж Сако, закатывая глаза и раскачиваясь из стороны в сторону, распевал фальцетом: «Орленок, орленок, взлети выше солнца!..»

В 2000-м же году кто-то из соседей по дому подарил Сако щенка. Это и был Парон – псина весьма неопределенной породы, неказистая на вид, но с большими, умными и *добрыми* глазами. С тех пор и начались издевательства Гиж Сако над Пароном: «Господин коммунист», «Господин ублюдок», «Господин сын шлюхи», «Господин кассирша», «Господин военком», «Господин турист», «Господин б-ь» – как только не называл Гиж Сако бедную собаку. Неизвестно, что по всему этому поводу думал сам Парон, но только он, когда слышал вдруг нежное «Господин хороший», или «Господин родной», или «*Господин товарищ*», мелко вилял хвостом и прижимался мордой к ногам хозяина и благодарно смотрел снизу вверх. Наверное, все же Парон понимал кое-что в жизни.

Гиж Сако был высок, сутул, худ и в любое время года но-

сил черный берет а-la Че Гевара (правда, без красной звездочки). Курить Гиж Сако тоже не курил, в отличие от знаменитого команданте, зато выпивал иногда, когда везло, и его куда-то приглашали, или он сам находил пустые бутылки, сдавал их и на вырученные деньги покупал дешевую водку. Жизнь его, как нетрудно догадаться, была нищенской – ведь очень часто пенсии хватало лишь на то, чтоб купить чего-нибудь Парону. Кто-то ему посоветовал продать двухкомнатную квартиру, где он жил с Пароном – в самом что ни на есть Малом Центре – и купить подальше где-нибудь однокомнатную, но Гиж Сако ничего об этом слышать не хотел.

– Это квартира моей мамы! – говорил пятидесятилетний Гиж Сако и продолжал нищенствовать.

Так и жил Гиж Сако со своим Пароном в двухкомнатной квартире своей мамы – в самом Центре Еревана, недалеко от Оперы. День за днем. И постепенно становился обязательной, хоть и не необходимой составляющей нашего города. И стало вполне нормально слышать грозно-язвительно-уничтожающий голос его по утрам:

– Парон, сын шлюхи, пойдем уже домой!

А потом Парона пристрелили. Ночью, вернее, под утро, во время рейда. Гиж Сако спал, и Парон сам открыл дверь и выбежал во двор по своим собачьим надобностям. Такое не раз случалось. Видимо, Парон не хотел зря будить своего хозяина... Вот его и пристрелили.

Когда все же Гиж Сако проснулся и пошел искать своего

Господина, уже начинало светать. Застрелившие Парона как раз пригнали машину, чтоб подобрать трупы собак и погрузить их в кузов. Гиж Сако только и смог закричать:

– Парона оставьте! Парона оставьте! Не увозите Парона. Я! Я его похороню! Сам...

Когда работники «Зачистки города от бездомных животных» уехали, Гиж Сако сел на бордюр в нашем дворе, положил к себе на колени окровавленное, совсем мертвое тело Парона и заплакал, завыл, застонал:

– Ну куда ты один *уходил*? Почему один уходил? Почему не разбудил? Ай, Парон! Ай, Парон! Господин родной! Господин товарищ! Господин брат! Господин единственный!..

И плакал. Потом снова:

– Ну куда ты один уходил? Почему один уходил?..

Постепенно все жители нашего дома собрались во дворе, вокруг Сако и его мертвой собаки. Никто не знал что делать. Жалко было, конечно Парона – добрая псина была, но Сако было жалко еще больше. На кого теперь будет кричать Сако? На ком срываться? И вообще: как будет теперь Гиж Сако без своего Господина? В нашем дворе никто этого не знал.

Парона похоронили за домом, рядом с гаражами. Хорошили всем двором, было очень много народа, и Гиж Сако сказал короткую речь. А потом вдруг почему-то приехал на черном BMW то ли чиновник какой-то, то ли депутат и стал кричать на нас, что, мол, не Сако только один гиж, но и мы все – то есть жильцы дома, что был в самом Центре Еревана,

недалеко от Оперы.

Екатерина Али

Неприснившийся сон в провинции Китая

Мне приснилось, что я родилась в теле Москвы, в голове красного червя яблока. Я сидела на поле, залитом абрикосовым светом, и перемещала предметы, мешая начала. А в отступлении обнаружила сходство. Когда я сидела в лесу, пришёл сентябрь. Он носил оранжевое, играл на гитаре и пил густые бордовые настойки. И тогда я проснулась в октябре в своей комнате на левом боку. Я открывала глаза и уходила вниз по лестнице к чудесным, искрящимся бесам. Красные, каменные яблоки лежали на столах, и всё кругом было каменно-прекрасно. Всегда видела этих бесов гладкими, вычищенными и застывшими. Хороводы юбок, женщины в телах мужчин, Шанхай в баре, в бедре – грезилось мне, на деле же снилось. Когда я проснулась наконец, голова была тяжёлая от схем, но я улыбалась и свешивала с балкона ноги. На небе цвёл миндаль, распускались почки, розово-белые цветки сыпались градом. Я сидела на балконе запечатанная в шаль. После видела мага – он стоял на дороге с чёрным посохом и менял местами предметы. Я увидела сходство духа; мы уходили вниз по косточке, начиная с верхних чакр. Воодушевлённая переливами оттенков от багрового, бирю-

зового до тёмно-тёмно-малахитового, я не оставляла его, но предвкушала очертание чёрта. Синим вечером, в переулке, на моих руках проступила кровь. И тогда я оставила мага в том переднем кармане, где храню книги, которые вот-вот выкину, сразу после поездки в горы. И вдруг я снова проснулась – передо мной остывала фиалковая вода, в которой плавал полумесяц; я сидела на гряде горы и прозревала сквозь космос дух. Слева рос чертополох и пахло жжёной травой. Внизу по серпантину двигался мужчина (будто бы близкий мне); он строил баррикады для зверей, хотя сам дико боялся ос. Этот мужчина, оставшийся в моей памяти, был смуглым и с белым сердцем-истиной-головой. Я не помню, что мы делали вместе, мы спускались и поднимались на гору в предвкушении удачи. В Новой Зеландии он стал моим мужем – в белой рубашке, у него были коричневые пальцы и шершавый язык. Мы рисовали на плоскости срезанного дерева набросок одного воспоминания, и я обнаружила себя за столом. Мы остановились – я вышла из среза и шла до самого моря, мы с мужем смотрели на неё – меня, и тогда я проснулась в Непале. Я купила слоников, чтобы привезти их друзьям, а к вечеру меня ожидала группа учеников. Помню, как зажигала свечи и вечером в тропических лесах говорила деревьям странные слова. Ночью ходила в ту харчевню, где меня каждый раз ожидала мать. Отбрасывая предметы от удивления пробуждения, я снова курила и потому знала, что ещё сплю.

В очередном видении я снова отрывала яблоки, и одно

оказалось коричневым, карамельным, трупным, и тогда я увидела этого человека. Он присылал мне скелетов и исчез после первой встречи. Мы никогда не встречались, но я написала про него роман с сюжетом о Боге. Он выходил из моей подушки и шёл вдоль дороги по тёмному канату. «Никогда не знала таких дорог», – подумала я, сжимая в руке этот странный сон. После него я поехала в горы. Купила мандарин, взяла чернила – это было похоже на жизнь. В горсти горы я встретила огрызок огня, который сиял будто во мне самой. После этого дня я долго жила на горе недалеко от заброшенной китайской деревни. У меня не было детей, я сочиняла стихи, а вечерами мы медитировали с мужем перед раскрытым зевом космоса. После одной медитации я вымыла тело, надела серую тунику и медленно – ленто – легла в могилу, и тогда поняла, что это не сон.

Алексей Антонов

Заплывшие за буи

Молчание – знак согласия
Пословица

«Уважаемые отдыхающие, не заплывайте за буи. Это опасно для жизни. Приятного вам отдыха» – вежливо говорит рупор. Он, правда, пока не говорит, ещё рано, но они уже ждут. «Уважаемые отдыхающие» – это в том числе и они. А они, увы, заплывают. Который раз заплывают. Они который год отдыхают вместе. У них общие дети и жилплощадь. Давно. Они спят в общей постели, но под разными одеялами. И редко – под одним. Давно. Они практически не разговаривают. То ли не о чем, то ли незачем, то ли нечем. Уже лет шесть.

Они, конечно, делают вид, что общаются, говорят друг другу пустые порожные слова, как правило, в присутствии детей, родителей и знакомых. Только знакомых всё меньше и появляются они всё реже. Сидят с внуками. Только дети выросли и живут один в Калининграде, другая на Камчатке. Только покойные родители – те и эти – лежат на кладбище.

Вода с утра тихая, ласковая и прозрачная. Они идут к ней по песку, уклоняясь от резвых, резких, голенастых, расставляющих лежаки мальчиков, мимо мальчиков, мерно подме-

тающих ночную морскую прибойную траву. Они расходятся по разным росистым ещё раздевалкам, хотя легко бы могли обойтись и одной. Потом они расстилают их общую подстилку и ищут в песке равновеликие прижимные камни-голыши. Два он, два она. Потом они садятся и смотрят на воду. Смотрят в море. Потом недолго предварительно купаются. Потом вытираются общим полотенцем. Потом ложатся рядом и читают. Она – Улицкую, он – Кастанеду. Тени укорачиваются, песок накаляется, и вот тут-то им и говорят металлическим голосом: «Уважаемые отдыхающие, не заплывайте за буи. Это опасно для жизни. Приятного вам отдыха».

Они расслабляются, растягиваются, потягиваются и стараются отдохнуть как можно приятней. Но какое уж там! Со скрежетом поднимаются рольставни палаток, хрипит оптимистическая жизнеутверждающая музыка, корабейники-завывалы призывают покупать пахлаву, мидии, крабов, креветки... Эфир заполняется шансоном, а урны – мусором. Надуваются резиновые тобоганы и катамараны, спускаются на воду плавсредства. Этсестера, этсестера.

Тем временем и между тем пляж плотно насыщается биомассой. Она прибывает по воде и посуху, маршрутками и пешком. Она старая и молодая, свежая и дряблая, загорелая и бледная, жирная и жилистая, красивая и нет, в меру и не в меру обнажённая. Она потребляет съестное, выпивает жидкое, всасывает солнечную энергию, отмокает во влаге, свя-

зывается по мобильной связи. Вступает в связи. А они смотрят.

Когда солнце начинает припекать и всерьёз жечь, они в тени тентов едят пиццу с пивом в «Море», в «Япона матери» или в «Ам-Баре». Благо, пиццы везде одинаковы. Он ест острую «Сицилиано», она – классику. Он думает, что она думает: «Ну как ты это ешь?» Но она молчит. Молчит и он. А пиво общее, «Черниговское светлое». Ему – 0,5, ей – 0,33. В стекле.

По ходу приёма пищи он смотрит на противосидящую девочку в почти невидимом купальнике, в увесистом золотом кресте поверх драконовой татуировки и в пирсинге на пупе. Он пытается представить, что у неё там в голове. Какая такая каша. Она же разглядывает рельефные группы грудных мышц, бицепсы и трицепсы на бронзовом мальчике с оранжевыми стоячими волосами. Но рассматривают просто так, с одним праздным незаинтересованным любопытством. С одним на двоих.

Однако пицца – не жизнь. Не вся ещё жизнь. Пиццей не проживёшь. Пицца кончается. И они возвращаются на свою подстилку. Теперь они вместе загорают спинами. Он – своей костистой. Она – своей, ну своей. Красивой. Ещё извилистой. Изредка желанной. А так-то – ну что. Спина и спина. И он собирается подремать. Но тут приходит четвёртый «Юпитер», а это – время большого заплыва. И они плывут.

Они плывут медленно и мерно. Плывут бок о бок. Эко-

номным пешеходным брассом. Держась лбом против тугой крутой волны. Их обкладывают матом мальчишки со скутеров. Но – неважно. Они смотрят – он влево, она вправо. Она на Любимовку, он на Толстяк. «Уважаемые отдыхающие...» – говорят им с берега. Дальнейшее уносит ветер. Да ну вас! И они плывут, как в детстве, в пионерлагере. Море становится плотнее, суровее и гуще. Он представляет себя жуком-водомеркой, ползущим по грани толщи. Перебирающим тощими лапками рук. А внизу – бездна. Она – отщепленной щепкой. Носимой волей воздушной и водной свободных стихий.

Далеко уже за буями, когда уже они, буи, превращаются в пляшущие красные, почти невидимые точки, он вспоминает, как неизбежно всё начиналось, как крепко строилось. Как в первом классе посадили их, его и её, за первую парту в первом ряду. Как с детства их тянуло друг к другу неодолимой силой. Как она давала ему читать дефицитные «Остров сокровищ», «Одиссею капитана Блада», «Детей капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой» и «Таинственный остров». Как он читал их ночами, годами, и как её за это боготворил. Точнее – начинал боготворить. Как Питер Блад Арабеллу Бишоп. Уже тогда. За Картахену, за Тортугу, за Ямайку, за жаркий Барбадос.

Как потом их отдали в 25-метровый бассейн на плавание к тренеру со смешной фамилией Шубабко. Как она в этого очкастого взрослого стройного Шубабку безответно влюбилась, а он вдруг неожиданно взревновал. Как позже у неё бы-

ли танцы и часто меняющиеся гибкие партнёры, а у него – акваланг и рыбы. Одни безмолвные рыбы. Как на выпускном вечере она сказала: «Ну куда ж я без тебя?» Как было мимо-лётное счастье. На школьной, крытой липким толем крыше, над пылающим огнями городом.

А далее – столица, вузы, синхронное плавание у неё, их-тиология у него. И холод. И картошка. И любовь – на обще-житских койках, в подружкиных с несвежим бельём почасо-вых квартирах, просто в говенных холодных вонючих подъ-ездах. Насквозь сквозь колготки. А куда денешься?

Следом же – должность, квартира, микроволновка, благо-состояние. На службе —аквариумы с привозными икросно-ными осетрами. Скука. Сытость. Икра.

А как бы снова? И по-другому?

Но нет ответа.

Плыви.

Она же думает иначе. Она думает про эту, не знает как и назвать. Про снулую рыбу. Ну, ту, с которой он посмел за-быть её. 24 года назад. Зимой. У Плотниковых. На Разгуляе 13, кв. 91. Чуть не при ней. «На минуточку». Так он оправ-дывался. Но нет прощения. Вот и живи один. Вот и плыви. Вот и заткнись. Она же поставила себе задачу – выглядеть моложе. Лучше. Круче. Светче. И, знаете, получается. Она загорела в солярии и осветлилась в академии красоты, по-

красила ножные ногти в пять ярких броских цветов, обрила наголо тугой свой тренированный лобок, стала сухощавей, пошла вразнос. И она вспоминает, перебирает этот разнос. И ничего хорошего.

Она, конечно, думает и о детях, но вскользь. Дети взрослые, состоявшиеся, ничего им, этим детям, не будет и не надо. Никто никому.

Она думает о несбывшемся будущем. О яхте, что-то там бороздящей, о солнце, смешанном с ветром, о пропахших ромом капитанах. Но она думает так, вообще. А в основном – об этой снулой рыбе. «Невозможно! Невозможно! Никогда! Никогда! Исключено!» – думает она.

Они уже в нейтральных ничьих водах. Уже прошёл позади них серый стремительный и острый «Санкт-Петербург» с одноклассником бравым еле различимым Витьком на мостике. Прошёл и не заметил. Видно, занят Витёк. Видно, хранит и охраняет. Бережёт акваторию отечества. А дна уже под ними нет. Там мрак и бездна. Пропась. Пучина. Но они плывут. «Надо бы починить кран на кухне», – думает он. «Надо бы папе с мамой цветов на могилку», – думает она. «Надо бы многое», – молча думают они оба. А уже и равелин полоской, и Кача в тумане. «Уже, пожалуй, ближе к Синопу, но там нет махрового полотенца» – думает она. «Да нет, какой Синоп. До него ещё плыть и плыть», – думает он. «А помнишь, как солнце садилось в море, а мы стояли у ИНБЮМа», – думает

она. «На Драконовом мостике», – поправляет он. «Нам было тогда по семнадцать», – думает она. «Мне уже два дня как было восемнадцать», – корректирует он. «Ну да», – молча соглашается она. «А помнишь?...» «Помню, всё лучше тебя помню», – мысленно срывается он. И они плывут дальше.

Она на него сегодня с утра разозлилась за то, что он случайно оцарапал запущенным прокуренным заусенчатым ногтем её болезненный мозоль. Подавая суши. Оцарапал душу. Он – в ответ – за то, что она сменила привычное равнодушие на колкое презрение. И они внутри злы. «Ну нет, ты уж первый поворачивай», – думает она. «Только после вас», – ехидно думает он.

Он оборачивается и не видит берега. Назад уже не доплыть. Назад не вернуться. Надо бы сказать, что пора, давно пора поворачивать, поворачивать всё, но поздно, и они к тому же не разговаривают. И они плывут. А что остаётся?

Море волнуется раз. Только раз.

«Ты прости меня», – говорит он.

«И ты», – говорит она.

И они красиво плавно тонут.

На спинках.

И ложатся на дно.

Как Вертинская в фильме «Человек-амфибия».

Только вместе.

Рядышком.

Уважаемые отдыхающие, не заплывайте за буи. Это опасно для жизни. Приятного вам отдыха. Пейте пиво «Черкасское». Летайте самолётами «Аэрофлота».

Заир Асим

Барселона

1

Барселона. Утро. Пятый этаж. Открытый в небо балкон. Мягкий ветер. Вид на небольшие горы, заросшие летом. Махровые склоны с клубочками деревьев, с катышками зелени. Внизу квадрат бассейна. Сверху ослепительная синева. Трудно погружаться в черно-белый пейзаж страницы, когда вокруг такой праздник цветов. Зрение, как поплавков, тихо покачивается на поверхности дня. Иногда что-то клюет, мысль пробует наживку. Но приятнее пребывать внемлющим молчанием, чем говорящим отсутствием. Легче трогать и приближаться, чем сидеть и отдаляться. Создавать пасмурность внутри сияния ради того, чтобы местность обросла памятью.

Что подталкивает немоту становиться формой? Предчувствие распада? Или замкнутое движение, распространение до вершины, с которой ничего не видно кроме опустошающей ясности? Преодоление – вот ради чего стоит жить. Блаженное скольжение, ощущение равновесия, длящееся от волны к волне.

Оглядываюсь. Свист кружащих ласточек, чернильных бабочек высоты, наполняет округу предельной безмятежностью. Недалеко от дома находится крематорий с окошками цветов. Я встречал многих, кто желает стать пеплом. На склоне различимо кладбище. Воздух и свет – неотделимые друг от друга.

2

Мы ездим на море, посещаем близлежащие достопримечательности, обедаем многообразной рыбой, креветками, моллюсками и прочими экзотическими существами. Влажные мидии, прячущиеся в хрупких каменных щеках, своей тканью и строением напоминают убежище нерастраченной нежности.

Приветливые улыбки испанцев. Разговоры на недостижимом языке ближе к пению, к веселому танцу безликих звуков. Тут вклинивается знакомая английская речь. Люди интересны до тех пор, пока не понимаешь, о чем они говорят.

Открываешь дверь автомобиля и воздух дышит жаром (как ты удачно сравнила) «как из посудомойки после мытья».

Берег моря. Мелкий горячий песок обжигает плоские стопы. Морщинистое полотно воды развевается, будто кто-то с горизонта встряхивает его. Белые страницы книги под солнцем ослепительны, как выпавший снег. Неразличимые тени

букв утрачивают свою плотность, теряют связь с тем, что стоит за ними. Муравейник медовых тел шевелится вдоль побережья. Мокрые сланцы квакают на ногах. Загоревшая кожа, покрытая скользким лосьоном, блестит лакированной мебелью. Вспоминаются изогнутые спины диких лошадей. Вдалеке бумажные плавники парусов. Истома тепла просачивается вином и разносит хмель мыльного сна.

Вечереет. Всплывает теннисный шарик луны. Льется упительный ветер. С террасы вид на трассу. Скрипит навес. Дрожит полый шар светильника. Рыбий пузырь, оболочка глаза. В небе продолжают танцевать невесомые ласточки.

Свет золотится, багровеет, заваривается, как чай. Закатное солнце – кружка крепкого чая. Несколько минут занимает у губ горизонта, чтобы насладиться последними глотками насыщенной прозрачности.

Загораются свечи домов. На крыше лето особенно прекрасно.

3

Стеклянные двери балкона. В комнате праздник света. В часы полуденного зноя я лежу на диване возле лестницы на террасу. Это место – сосредоточие сквозняка. Гибкость теплого ветра настолько ощутима, что кажется, будто плывешь на яхте. Упругие потоки воздуха приятны, как бесплотные

объятия, ласка пустоты.

Гримасы песка. Красное кирпичное здание с выдвижными ящиками балконов. Самолеты, как лыжники на снегу, оставляют белые полосы движения. Зелень пальмы, что висит во дворе возле бассейна, колышется выцветшей пленкой кассет, привязанной к столбу.

Здесь женщины теряют свою выразительность. Тут все женское. Все пропитано влагой. Водоросли кустов. Пыльность губ, блеск кожи, многоцветность платьев. Многообразие сравнимое с распродажей вещей в пятиэтажных центрах. Обнажение – выявление контраста, особенно оно заметно зимой, но здесь нагота сливается с фоном и продолжает цвет и складки песка, повторяет формы, багровость лепестков.

Туристические места навевают скуку своей законченностью и отсутствием неожиданности. Архитектура – памятник собственному воображению, но окаменевшая мысль внушает равнодушие. Красота длиннее человеческой жизни не сильно меня волнует. Чем меньше срок ее действия, тем привлекательнее. Чем бесплотнее, тем ближе к первоисточнику. Меня не трогает форма пространства, окоченевшее место. Душе желаннее вспышка мгновения, дуновение, подобное мимолетному запаху – все то, что меняется, повторяя себя: листва, свет, вода, вечер. То, что повсюду, сейчас оно есть и сейчас же исчезнет.

Изобилие света окружает прозрачным кольцом. Я устал от яркого простора и в поисках тесноты шатаюсь по лабиринту

стен, не находя темного угла. Там, где видно непроницаемое. Чувствую себя мостом, связующим два берега, медленно отплывающих друг от друга.

Антон Барышников

Война

Шампанское

Грузчик никогда не пробовал настоящего французского шампанского. Он только разгружал коробки с бутылками. Водитель грузовика рассказывал, что это очень хорошее шампанское; сам он его не пробовал, но где-то читал, что лучше этого напитка ещё ничего не придумали. Грузчик верил. Он уважал водителя, ведь тот давно возил еду для светских вечеринок. Поэтому он аккуратно переносил коробки из машины на кухню. Там кипела работа.

Редактор главной газеты страны очень любил шампанское. На многие приёмы и фуршеты он ходил только из-за него. Слушать речи господ – глупо; улыбаться коллегам – противно; только шампанское может спасти такие вечера. Но сегодняшний фуршет был бы хорош и без напитков. На нём присутствовал самый богатый и могущественный человек в стране, управляющий сотней фабрик, тысячей магазинов и десятком нефтяных вышек.

Владелец фабрик, магазинов и нефтяных вышек ненавидел шампанское. Стоило ему выпить бокал, и сразу началась изжога. Он старался не пить, а просто держать бокал в руках, но иногда забывался. За невнимательность приходилось платить плохим самочувствием. Сегодня владелец фабрик, магазинов и нефтяных вышек не совершал ошибки; шампанское в бокале оставалось нетронутым, пока он говорил.

Он говорил восхищённой публике, что слишком долго страну обижали недруги. Что нация в большой опасности. Что для спасения нужны решительные меры. Что нужно быть готовым к некоторым ограничениям. Что нет ничего важнее единства. Что победа неизбежна.

Он говорил о том, что скоро начнётся война. Потому что иначе нельзя.

Публика аплодировала и пела гимн. Потом опять аплодировала и вновь пела гимн, чтобы не утратить настрой.

Владелец фабрик, магазинов и нефтяных вышек подошёл к редактору и попросил его быть верным сыном отчизны. Редактор утёр слезу. Он знал, что допьёт шампанское и вернётся в редакцию, где сам – такое нельзя доверить кому-то другому – напишет статью, которая сплотит нацию.

Владелец фабрик, магазинов и нефтяных вышек поехал домой. Он был доволен собой: изжоги не будет.

Через неделю началась война.

Через две недели грузчик и водитель получили повестки.

Через три месяца они гнили на нейтральной полосе.

Первое наступление оказалось неудачным.

Дом

Когда объявили о начале войны, дом вздохнул с облегчением.

Кто-то кричал, что давно пора всыпать мерзавцам.
Кто-то считал штыки и пушки сторон.

Одни выражали надежду, что сражения будут большими, чтобы было о чём написать в учебниках по истории, а то учебники в последнее время измельчали, им не хватает серьёзных событий.

Другие уверяли, что всё кончится быстро: враг труслив и подл, он умеет лишь бегать и прятаться, так что война будет лишь эпизодом в славной истории страны.

Покричав, все занялись делом.

Старухи тихо вязали носки для неминуемой победы.

Старики громко жалели, что слишком рано родились.

Рабочие предчувствовали двойную нагрузку.

Чиновники сочиняли новый закон о призыве.

Дети придумали новые игры: бомбардировку, расстрел и психическую атаку.

Один предложил поиграть в пацифистов, но не смог объ-

яснить, в чём смысл игры.

Отцы наставляли своих сыновей, объясняя, где лучше служить – на кухне или в штабе.

Сыновья были рассеянны: в головах играли марши.

Две матери из десяти (в квартирах №6 и 20) плакали. Тайком, чтобы не опозорить себя перед людьми.

Остальные матери радовались: детям шла форма.

Дом был доволен.

Наконец-то война. Наконец-то всё ясно.

Репортёр

Когда началась война, я был репортёром.

Говорили, что я неплохо пишу.

Но мне было скучно писать для газет.

После первых боёв прислали повестку.

Я показал её редактору.

Он вздохнул: ты не вернёшься.

Я ответил: наверное.

В военкомате обрадовались: нам нужны журналисты.

Я удивился: зачем?

Они пояснили: войны выигрывают не дела, но слова.

Я сомневался.

Пропаганда и агитация важнее штыков, уверяли они.

Я признался, что утратил вдохновение.

Они вздохнули и покачали головами.

Я промолчал.

Пехота, сказали они.

В учебке мне дали автомат.

Сержант велел стрелять.

Я промахнулся.

В бою научишься, засмеялся он.

Я промолчал.

Утром все построились на плацу.

Я немного сутулился по старой привычке.

Майор сказал, что скоро будет бой.

Наш крик «ура» был очень дружным.

Колонна ехала по тесной дороге, когда её атаковали.

Я сразу же оглох.

Майор сгорел прямо в машине.

Мы выпрыгнули из грузовиков.

Все начали стрелять.

Я тоже попытался.

Рядом что-то грохнуло.

Я упал.

Сержанту оторвало голову.

Я попытался встать.

Небо было ярко-голубым.

Живот был разорван.

Всё вдруг затихло.

Ноги отнялись.

Кто-то быстро пробежал мимо.

Мне было больно.

Я умирал.

Всё было слишком быстро.

И слишком глупо.

Хорошо только, что живот.

Что лицо уцелело.

Меня хотя бы опознают.

Не то что сержанта.

Никто

Когда солдаты увидели перед собой город, никто не мог вспомнить, как он называется. К счастью, в штабе была карта.

Командиры посмотрели на неё и определили важные позиции.

На эти позиции поставили пушки и ракеты.

На этих позициях солдаты вырыли себе окопы.

Среди этих позиций замерли танки.

Никто не знал, что произойдёт дальше.

Командиры сказали, что город скоро сдастся.

Нужно лишь отправить туда десяток танков.

Танки, урча, двинулись в путь.

В городе они встретили женщин и детей.

И нескольких стариков.

Танкисты удивились.

Никто из них не понял, где прячется враг.

Командиры сказали, что нужно провести зачистку.

В город отправились пехотинцы.

Они увидели детей и женщин.

И пару стариков.

По радио им приказали стрелять.
Они не поняли, в кого.
Жители города смотрели на них с любопытством.
Никто не выстрелил.

Командиры сказали, что это измена.
Но наказание отложили.
Был отдан приказ артиллеристам:
Стрелять по южным кварталам.
Артиллеристы не видели ни женщин, ни стариков.
Они не заметили детей.
Их снаряды стёрли в прах двадцать домов.
Никто там не выжил.

Командиры сказали, что нужно проверить, повержен ли враг.

В бой храбро отправились танки с пехотой.
Их встретили женщины с причитаниями и старики с проклятиями.

Дети кидали в них камни.
Из одного дома даже выстрелили.
Ранили командира.
Войска вынужденно отступили.
Теперь никто не сомневался, что в городе враг.

Командиры сказали, что штурм нужно хорошо подгото-

вить.

Артиллеристы пять дней стреляли по городу, пока не кончились снаряды.

Потом подвезли ещё, и они продолжили.

Треть города была разрушена.

Треть – уничтожена.

Треть выстояла, превратившись в руины.

Неба не было видно из-за чёрного дыма.

Никто не сомневался, что победа близка.

Командиры сказали, что остался последний бой.

Вперёд пошли пехота и танки.

Они не встретили никого, кроме матерей, плачущих над детьми.

Один пехотинец сказал, что это неправильно.

Он крикнул, что так нельзя.

Что в городе никогда не было врага.

Командиры сказали, что он сумасшедший.

Пехотинец крикнул товарищам, что нужно стрелять в командиров.

Он орал, что они – свиньи, дерьмо и убийцы детей.

Его поставили возле обгоревшей стены.

Командиры сказали, что он – предатель.

Никто не осмелился возразить.

Никто не посмел промахнуться.

Через неделю пришли наградные листы.

Взятие города – большой успех, написал генерал.

Вами гордится отчизна – передал на словах президент.

Все были рады.

Командиры получили ордена, солдаты – медали.

Никто не остался без награды.

Март

Пятый март войны был таким же грязным и утомительным, как третий.

Первый и второй март тоже не баловали погодой, но энтузиазм и готовность умереть за Родину (ушедшая в историю под натиском усталости третьего марта) скрашивали сидение в сырых окопах.

Четвёртый март был солнечным и сухим; воюющие стороны так обрадовались, что провели пару наступательных и оборонительных операций, оставив на полях сражений тысячи обожжённых и растерзанных тел.

Бои за эти тела длились, пока не пришёл пятый март.

Пятый март войны оказался для неё последним.

Все устали.

На заводах было некому работать.

Поля было некому засеивать.

Гражданские не могли больше прятаться по подвалам.

Солдаты пустили в ход почти все боеприпасы.

Генералы пали духом.

Кончился запал у пропагандистов и агитаторов.

Политики, вздохнув, сели договариваться.

Пока они говорили, пятый март войны согревал снег, превращая мёрзлую землю в еле тёплую кашу.

В этой каше застревали танки.

В этой каше оставались пушки.

В этой каше пропадали мины и снаряды, изредка посылаемые противниками.

В этой каше разлагались погибшие от пуль и бомбежёк.

Эта каша съедала войну, не выплёвывая костей.

В середине марта, когда сил совсем не осталось, политики вышли к фотографам и, улыбнувшись, обняли друг друга.

Наступил мир.

Журналисты, вчера бывшие апологетами войны, бросились писать похвалы миру.

Вести о мире полетели к передовым позициям.

Услышав о мире, солдат вытащил последний магазин из автомата.

Он попрощался с товарищами и собрался домой.

Командир сказал ему, что он – дезертир.

Солдат ответил, что его ждут дома.

Командир заметил, что всех ждут дома.

Солдат кивнул.

Командир вздохнул и махнул рукой.

Солдат пошёл домой.

Он шёл по раскисшей дороге.

Снаряды и март превратили её в выгребную яму.

Он с трудом переставлял ноги.

Не от усталости, хотя за пять лет войны он очень устал.

Просто мартовская каша из глины, грязи и трупов мешала свободно ходить.

Но он шёл и смотрел по сторонам.

Небо было серым.

Деревья, пережившие огонь сражений, были чёрными.

Трава ещё не начала пробиваться наружу.

В воздухе висела тяжёлая тишина.

Но солдату было хорошо.

Он соскучился по миру.

Он дышал миром.

Ему нравились облака, скрывшие солнце.

Ему казалось, что на тёмных ветвях появляется новая жизнь.

Ему чудилось, что вдалеке, у горизонта растут цветы.

Ему слышалось щебетание птиц.

Он был счастлив миру.

Его застрелили в спину.

Хватило короткой очереди.

Разведчики противника сэкономили патроны.

Патронов в последнее время не хватало.

Они стояли над солдатом, разглядывая его улыбку и сбитые сапоги.

Они забрали его вещи и автомат.

Они сбросили его тело в придорожную яму.

Они двинулись дальше.

Они ещё не слышали о том, что наступил мир.

Пятый март войны и первый март мира всасывали тело солдата в грязь.

Он улыбался.

Мир наступил.

Envoi

Когда война ушла, горожане взялись за уничтожение её следов. Они разбирали завалы, строили стены, чинили трубы, хоронили тела. Уже через год от войны осталось лишь одно напоминание – сгоревший вражеский танк на городской площади.

Чёрное пятно ржавчины. Мёртвая машина смерти.

Солнечным летним днём около танка остановился мужчина. Во время войны он был далеко; вернувшись, он знакомился с городом заново.

Он с любопытством рассматривал вывернутую наизнанку машину.

– Дядь, а ты знаешь, кто в нём был?

Он обернулся. Рядом стояла маленькая девочка с потрёпанным медведем под мышкой. В другой жизни у неё был бы тихий час; но детские сады были разрушены войной, и тихих часов больше не было.

– Не знаю.

– А я знаю.

– Откуда?

– Мне папа сказал. Они там сгались, а он потом сказал, кто они были.

– Кто же?

– Папа сказал, что это сиклет, – девочка перестала улы-

баться.

– Я никому не скажу.

– Честное слово?

– Честное слово.

– Калалевская печать?

– Королевская печать.

– Халасо, – она важно кивнула. – На ушко скажу.

Он наклонился.

– Пидалы, – шепнула она. – Папа сказал, в нём были какие-то пидалы.

Он кивнул и снова посмотрел на мёртвый танк.

Ирина Батакова

Кристина

Вода-река, приручись ко мне! – прошептала Кристина и нырнула.

Она еще успела услышать, как кто-то извне крикнул: не плывите с Криской, она всех победит! Но ей уже было все равно. Она уже считала гребки. Раз. Два. Три.

На дне было все желто-зеленым, мутным и пустым. Где-то в близорукой дали колыхались водоросли. Ну, вон дотуда. Кристина всем телом сосредоточилась на цели, как учил ее тренер по плаванию.

Ей даже почудилось, будто он ждет на другом берегу, держа палец на секундомере. И она его не разочарует, она придет первой. Да-да, она всех обгонит, не плывите с ней. Не плывите с ней, не дружите с ней, не играйте с ней. У нее мать ку-ку, с приветом, полоумная, Нинка-баламошка, Нинка-чокнутая, Нинка-катастрофа, сожгла балтийский флот. Это было давно, еще до рождения Кристины. Четыре. Пять. Шесть.

Тогда Нинке было чуть больше, чем Кристине сейчас. Пятнадцать лет, детский санаторий под Юрмалой, лето, море, первая любовь. Преступная любовь. Он был женат и что-то такое, короче, старик. Уходя, подарил ей колечко. Деше-

вая поделка из сувенирной лавки. Но она подумала: венчальное, и ждала его – день, два, неделю. А потом выдернула шнур, выбила стекло, выбросила кольцо и сошла с ума.

Семь. Восемь. Девять... Глупое соревнование, кто его затеял? Кажется, Генка, это он закричал: а давайте, кто дальше проплывет под водой! Как будто у них были шансы. Кристина сразу заметила, что плывет в одиночестве – все остальные, наверное, барахтаются на поверхности как поплавки, сунув лицо в воду – это у них называется «плыть под водой». Дураки. Не знают, что надо держаться у самого дна, почти скользить по дну – тогда вода тебя не вытолкнет, а наоборот прижмет, придавит, и только под этим давлением можно плыть прямо вперед, прямо вперед.

Они легкие, а я тяжелая – подумала Кристина, вдруг заново переосмыслив урок по физике об удельном весе тела в воде. Это не тело в воде, поняла она, не тело. Это совсем про другое.

Наверное, мать бы мне объяснила эту физику. Она что-то знала про скрытые связи между предметами и существами, про иную телесность вещей. Но ее залечили. Так говорила бабушка: ее залечили. Из-за этого чертового кольца. Нет, не так: из-за того, что кольцо вызвало необратимые флуктуации в мироздании, самовозгорание кораблей, кипение океанов, мор, глад, войну и гибель вселенной.

Десять. Одиннадцать. Двенадцать. А Кристина получи-

лась обычная. Не такая, как Нинка. Обыкновенная. Она, как и все, хотела бы стать балериной или гимнасткой, но не вышла статями. Была долговяза и сутула, и когда в школу навывались учителя грациозных движений, Кристину неизменно браковали. А потом пришел тренер по плаванию и сказал: широкие плечи, длинные руки – то что надо. Ей было тогда семь, да, семь, мать как раз почти совсем вроде бы поправилась. А сейчас тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать.

Сначала Кристине не нравилось плавать. Она паниковала, набирала ноздрями воду, взбивала брызги. Кафельное эхо, синегубый холод и хлорка. Вечный запах хлорки. Все было им пропитано: бассейн, душевая, раздевалка, дорога домой. По дороге домой, где-то на полпути, всегда выливалась из уха струйка воды, которая, как ни хлопай себя по голове, никогда не выбивалась вовремя – ни в душевой, ни в раздевалке, а закупоривалась наглухо, и только когда Кристина выходила на леденящий ветер пустыря, на мороз, – вот тогда-то и вытекала из уха в меховую шапку.

Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Ты боишься воды, – сказал тренер. – Приручи себя к воде. И перестань стучать зубами – у тебя есть только один способ согреться: плыть очень быстро, быстрее всех.

И Кристина поплыла быстрее всех. Через два года она обогнала своих сверстников, и тренер перевел ее в старшую группу. Спустя год она и там была первой. Ее записали на

областные соревнования – ехать надо было в другой город, и Кристина уже представляла, как она будет жить в гостинице, словно взрослая, и ходить со своей командой в бассейн, как на важную работу. А накануне отъезда у нее начался жар. Потом – скорая, больница, инфекционный бокс, за окном – лицо матери, сразу как-то молниеносно постаревшее, долгое выздоровление, после которого она так ослабла, что казалась себе прозрачной на свет, как лист рисовой бумаги.

Девятнадцать. Двадцать. Ты вот настолько отстала, понимаешь? – тренер вытянул вверх руку, обозначая недостижимую планку. – Сама от себя отстала. Или работай как зверь, или уходи. – Но я болела, я же не виновата! – Никто не виноват, и никто не будет подтирать тебе сопли. – Но я все делала правильно! – кричала Кристина – Я плавала быстрее всех! Я же приучилась к воде, приучилась! – Ну, значит, вода к тебе не приучилась, – ответил тренер в сторону, и вдруг заорал кому-то яростно: Голову! голову держи! И не надо мне вот это вот тут, не надо!

Двадцать один. Двадцать два. Не хватает воздуха.... Надо наверх. Двадцать три... Нет, еще немного. Вон до тех водорослей. Двадцать четыре. Нет, не могу, не могу. На миг ее охватила паника. И тотчас – презрение к себе, к своей трусости – здесь ведь так мелко, вынырнуть всегда успею. Затем – холодное, отчужденное любопытство: интересно, сколько

я так протяну? Совсем-совсем без воздуха. Двадцать четыре. Двадцать пять... Двадцать шесть... Двадцать семь... Двадцать восемь... Зачем? Не спрашивай, просто считай. Двадцать девять... Тридцать... Тридцать один... Тридцать два... Тридцать три...

Оказывается, можно жить и двигаться вперед не дыша. Вот и водоросли. Она помнила – тренер предупреждал – что даже опытный пловец может запутаться в речной траве. Вот были случаи... Тридцать четыре... Тридцать пять... Так что держитесь подальше, а если попались – порядок действий такой... Она прекрасно усвоила порядок действий. Осталось проверить. Вот он удивится, когда она преодолет эту опасную ловушку легко и свободно, проскользнет тайными ходами, сквозь узкие просветы, в сонно мерцающие щели, где пасутся мальки, не потревоженные опытным пловцом.

И может быть, тогда он простит ей корь и снова примет в команду, снова признает. Он скажет: смотрите и учитесь, эта девочка приручила воду, настоящую воду, с донным речным песком, с илистой мглой, она прошла между холодными и теплыми потоками, сквозь клетки подводных растений, сквозь это мертвое клубление тьмы – и вышла на свободу.

Тридцать шесть. Или не шесть... Или семь? Пусть будет семь... Семь чего? Вот раньше были дайверы, задерживали воздух на семь минут. Красивое слово – дайверы. Дай веры.

Дай. Веры. Не дашь? Ну и не надо. Мне все равно, есть ты там или нет – на том берегу, со своим глупым секундомером. Нет так нет. Нет так нет.

И вдруг наступил покой. Кристина почувствовала необычное опустошение внутри.

Раньше пустота казалась ей воздухом, который наполняет горящее сердце, когда оно забывает о своем горе. Теперь не было никакого сердца, никакого горя и никакого забвения – ничего, что можно было бы заполнить. Только покой.

Кристина медленно скользила в подводной тьме, со всех сторон к ней ластились нежные лапы водорослей, и все сгущались вокруг нее, пока наконец течение воды не застыло совсем, а с ним – остановилась и Кристина. Теперь она просто лежала в реке-траве, как в колыбели, колеблемая вместе с ее листьями и стеблями – она сама стала травой, и в этот момент увидела свет: тысячи огоньков белого света, они были везде, они распускались как цветы в гуще водорослей и, струясь, отлетали вверх. Ух ты! Здесь все наоборот! – удивилась Кристина, – лепестки опадают не вниз, а вверх. Она потянулась вслед за ними, но водоросли крепко спеленали ее. На одно бесконечно длинное мгновение Кристина увидела себя со стороны – и все поняла. Но уже было не страшно. Вверху сияло, качалось в слоях воды зеленое карамельное солнце. Белые огоньки взлетали к нему, роились и соединялись с его светом, и свет увеличивался и расширялся, как

надувной шар, внутри которого лежала исчезающе маленькая Кристина.

Она забыла все – и гордость, и обиду, и как мечтала, чтобы чужой человек с секундомером был ее отцом. И острое сострадание к матери, смешанное с чувством гадливости и стыда. Все вынесло на поверхность, закрутило течением, унесло – вместе с горящими кораблями, кипящими морями, кишачими тварями, божьими карами, со всеми сокровищами мира, которые внезапно превратились в пустяк. В поделку из сувенирной лавки. Копеечное кольцо. В последний момент Кристина вдруг поняла, что оно до сих пор так и лежит там, на лесной тропинке, под юрмальскими соснами.

Ольга Батлер

Космонавт Зина

По вечерам, когда комнаты банка становились тёмными, а коридоры – гулкими, в банковском баре собиралась весёлая компания, две парочки – директор и заведующая банковским баром, водитель и судомойка. Алкоголь постепенно делал своё дело.

– Давай «Милорда», Зинуль!

И заведующая баром взгромождалась на стол, самозваной русской Пиаф тяжело шла по нему, считая всё подряд – стаканы, розетки с недоеденной икрой, тарелочки с подкисающими салатами. «Алэ вэнэ, милор, вуз ассуар а ма табль!».

Если Эдит была парижским воробушком, то Зина – крупной и крикливой птицей Восточно-Европейской равнины. Она трясла юбкой в такт песне, по очереди обнажала сильные ноги.

– Иль фэ си фруа дэор – правая! Иси сэ комфортабль – левая!

Директор банка хватался то за сердце, то за край стола. Прародительница смертных Сарра, спаси... Зинины чулки были на подвязках, сами подвязки исчезали в чёрных коррекционных трусах. Ну и что, что коррекционные? Не нужны ему тонконогие красотки в шёлковом белье. Ему земную

Зину надо!

Страсть эгоистична. Зато со страстью не заскучаешь. А любовь жалостлива. Если бы директор только намекнул, Зинаида бы всё для него сделала. Она б его на руки взяла, такого маленького, и баюкала, про волчка напевая. А ему хотелось просто отпыхать дотла, опять возродиться в сладких муках в огне её необъятных бедёр и ... уехать домой. Поэтому: «Лэссэ ву фэр, Милор. Э пранэ бьян воз эз, во пэнэ сюр мон кёр». Что в переводе с французского означает: да здравствует свобода всех и каждого друг от друга.

Грех так кутить, когда страна голодает. Поздно вечером эти четверо выехали из банка и на скользкой дороге их Мерседес лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Маленького директора выбросило в окно, он скончался на месте. Тела водителя и судомойки спасатели достали через два часа, срезав крышу. А заведующая баром выжила – она застряла между креслами и подушкой безопасности. Но ногу пришлось ампутировать почти до колена.

Выписавшись из больницы, Зинаида два дня просидела на кровати, подсунув подушку под культю и перебирая телевизионные каналы. Несуществующая ступня болела – Зинино тело не хотело осознавать потерю. Наверное, дерево так же гонит соки к недавно спиленной ветке, к старой памяти изумрудным листьям. А листья уже свернулись в трубочки, до-

горают в куче садового мусора.

На третий день Зина напилась водки, проглотила все таблетки какие нашла и включила Пиаф. «Подумать только, Милорд, достаточно одного корабля. Корабль уплыл, всё кончено». Это, без сомнений, была попытка суицида. Зина попала в психушку.

На этаж там вела тяжёлая дверь с глазком и пятью засовами, зато палаты оказались без дверей. И было там тихо. Большой шум случался только в мужском отделении по вине Ушанки. На голове этого психа красовалась шапка из рыжего зверька. Если кто-то отбирал у него головной убор, Ушанка закрывал руками свою лысину и кричал, что его мозг простудится.

Хотя, возможно, он всё правильно рассчитал. Шапка смягчала удары, а лупили Ушанку неоднократно: за чрезмерное любопытство, за то, что воровал и прятал под чужими матрасами алюминиевые ложки; за то, что сигареты без конца кланчил.

– Имеются ли у вас яркие воспоминания? – Ушанка подсел к Зине, когда та обедала у окна.

Она недовольно покосилась на его бледное лицо.

– Не имею таких.

– А если я предложу на выбор? Океан, белый песок на пляже. Или восхождение на Арарат, сплав по реке Иркут. Всё это есть в моей мемотеке.

Зина впервые улыбнулась, и глаза Ушанки блеснули.

– Я умею пересаживать воспоминания от одних людей к другим, так что Нобелевка мне обеспечена, – прошептал он, осмотревшись по сторонам. – Вы представьте! Человек пережил прекрасное, и все смогут вслед за ним насладиться. И знания можно передавать. Немного практики вместо пяти лет учёбы в институте, и специалист готов... А полёты в космос! У меня, кстати, есть знакомый космонавт, на «Салюте» летал. Подарил некоторые эпизоды – звёзды, яркие краски на фоне чёрного космоса. Не желаете?

К Зине на минуту вернулась былая бесшабашность.

– Давайте, валяйте! Согласна на воспоминания космонавта! Я, кстати, в день космонавтики родилась. Где ваша мемотека?

– Да вот она, – Ушанка неожиданно нахлобучил свою шапку на голову растерявшейся Зине. – Начинаем трансплантацию воспоминаний. Раз, два, три, ёлочка, гори!

Зина с отвращением сорвала с себя провонявший куревом головной убор. Ушанка подхватил его и, спасаясь от двух плечистых нянек, восьмёрками забегал вокруг столов.

– Опять, паразит, ложку украл! – крикнула одна из них. И ведь в самом деле украл...

Зине несколько ночей снились странные сны, а однажды днём, уже дома, допивая кофе, она вспомнила себя в невестомости, в спальном мешке, на космической станции. Надо

было завинтить гайку на приборе, и она как раз собиралась это сделать – у мешка были прорези для рук.

Потом она увидела и вовсе невероятное. Ослепительный свет – ни огня, ни взрыва, ни пожара. Свет проникает на станцию через непроницаемые бортовые стенки. После этого в иллюминатор виден человеческий силуэт размером с авиалайнер. Проплывающий рядом со станцией огромный человек с прозрачными крыльями смотрит на Зину с такой любовью, что ей хочется заплакать от благодарности и спросить: «Кто ты, прекрасный незнакомец? И почему добр ко мне?».

Костыли... И окна квартиры, как иллюминаторы. Космонавту Зине обязательно надо выйти в ставший опасным мир. А ещё кухню надо привести в порядок, плитки отваливаются.

Для ремонта она наняла Мишу.

Дальше история будет о том, как прибились друг к другу инвалидка и молдавский гастарбайтер. Она наврала ему про возраст, убавив себе восемь лет. Он поведал ей свою жизнь. Работал на оборонном заводе, пока всё в стране не развалилось. На заработки ездил, жена гуляла, стала наркоманкой. Дети сгорели в доме из-за телевизора.

Тогда Зина рассказала ему про космос и про ангела.

– Он исчез, и так грустно стало.

– А какое лицо у него было?

– Он улыбался. Но не так, как мы, а с восторгом, понима-

ешь?

– Не-а. Покажи.

Зина улыбается. Миша хохочет.

Ночью он гладил её бережно, словно боялся принести изувеченному телу новые страдания...

Однажды Зина собрала кое-что из старых безделушек и отправила Мишу на блошиный рынок. Там на цепи сидел пьяный медведь, шныряли в толпе юркие беспризорники. Обнищавшие профессора палеонтологии скучали рядом со своими трилобитами. Гуманитарная дама читала «Новый мир» над вышитыми платочками. Продавцы разложенной на асфальте звёздной меморабилии играли в шахматы.

От одного развала к другому переходили внимательные интуристы, скупавшие артефакты континента, который раскололся и ушёл под воду, лишь пузырьки пока прорываются на поверхность, да обломки всплывают – пёстрый дешёвый скарб на тряпках, антикварная рухлядь, стопки старых книг, древние жестянки из-под монпасье, пластмассовые расчлennённые пупсы с болтающимися на верёвочках руками и головами.

Законы небесной механики работают медленно, но верно: продавший Зинины вазочки Михаил сделал несколько кругов возле меморабилии и – была не была! – азартно поторговавшись, купил Зине подарок.

– С днем космонавтики!

– Целых сто рублей потратил, – расстроилась Зина. – Я в него и не влезу.

Вечером они сидели на тахте, рассматривая покупку.

– Зин, а вот интересно, что космонавт там чувствует.

– Свободу. И ещё головную боль он чувствует, из-за невестомости.

– А как они там на космической станции чай заваривают?

– Считаешь, я это теперь знать должна?

Да... Вопросов больше, чем ответов.

У находящихся в космосе – то же. Кажется, Землю можно потрогать и ладони намочить в океанах. И как на этом голубом и сияющем шаре уместается целый мир с лесами, пустынями, реками, деревнями, городами? В городах – красивые квартиры, где на туалетных столиках пузатятся разноцветные дорогие парфюмы и играют лучиками только что снятые с женских пальчиков кольца, и в холодильниках замечательная еда.

И есть на Земле некрасивые вещи, страшные вещи. Набухшие окурки в стакане, шприцы и жгуты рядом с ложкой, в которой приготовлен наркотик. Кровавая жестяная окрошка на обочине дороги, ещё минуту назад бывшая быстрым и сияющим автомобилем. Больничный контейнер с ампутированными конечностями. Дымящийся остов дома. Два маленьких гроба возле вырытой могилы.

Что будет, если материальный мир вдруг распадется на атомы, завихрится и исчезнет в неожиданной воронке? Наверное, останется нематериальное, не поддающееся вычислениям. Наверное, оно будет выглядеть как светляки, тянущиеся друг к другу. Когда один светляк слабеет, мерцает и гаснет, почти сливаясь с небылью, другие спешат поделиться с ним своей невеликой силой.

И над всем этим – проникающий до печёнок голос (звук, он ведь нематериален?). «Э во пье сюр юне шэз жё ву коннэ, Ми-лор...». Пиаф поёт о том, что не надо бояться чужого тепла, что корабли не только уплывают, но и возвращаются в свои морские и космические гавани и что счастье приходит, когда ты уже забыл о нём.

– Миш... Хочу тебе одно признание сделать. Я ведь возраст свой убавила.

– Да знаю я уже.

– А вот скажи, ты никогда не думал, что мы могли бы встретиться лет десять назад?

– Ты б на меня тогда не посмотрела, – махнул рукой Миша. – Москвичка, фу-ты ну-ты.

– Не фу-ты ну-ты, а специалист по беспилотным летательным аппаратам.

– Зин... Неужели тот псих тебе и это... пересадил??

– Пересадил, пересадил! И красный диплом нарисовал! – развеселилась она.

В тот день Зина загадала желание. Ничего особенного не попросила, ей просто захотелось быть рядом с Мишей и через пять лет, и через десять.

Будущее полно сюрпризов. Через десять лет появятся бионические протезы. Купленный в Измайлове скафандр будет оценён на солидном аукционе в сумму со многими нолями. Атлантида вдруг передумает лежать под водой и, устроив небольшие цунами в обоих полушариях, поднимется на поверхность.

Известный космонавт выступит по телевизору.

– Видели ли вы ангелов в космосе? – спросят его.

Космонавт посерьёзнее, потом рассмеётся.

– Конечно, видел, – и переведёт разговор на другую тему.

Владимир Березин

Конок

Савельев попал на шабашку по знакомству.

Его взяли не оттого, что он был хорошим электриком, а от того, что был непьющим – северный спирт выжег его организм.

Бригада поехала в горы в конце весны, уже запаздывая к сроку. Работу нужно было начать месяца на два раньше, но до них там трудились другие. Однако случилась невнятная история, вскипела из пустоты бессмысленная драка, в которой один строитель был убит, а двух других увезли в город связанными, и прежняя бригада распалась.

Школа осталась недостроенной.

Савельев согласился сразу – не спрашивая даже, школа это или коровник. Да есть ли там коровники? Может, там одни бараны. Или нет там баранов. Какие-нибудь козлы.

Бараны, как оказалось, были, были и коровы.

Школа стояла на краю посёлка остовом – но не мрачным, а весёлым. Там пахло свежеструганными досками, а под потолочными балками свили гнездо птицы.

Савельев с товарищами работали споро, чтобы закончить работу в августе, не к первому сентября, а аккурат ко дню строителя.

Они редко прерывались — только чтобы перекурить, напиться смоляного плиточного чая.

Строители почти не пили. Оттого, собственно, их и любил председатель — местные строить не умели, а рюмка валила их с ног. Это был малочисленный горный народ, спрятавшийся под паспортным именем русских. Правду выдавали не только плоские азиатские лица, а именно что отчаянная неустойчивость к водке. Что-то там было в организме (Савельеву объясняли, да он не запомнил подробностей), что валило местных на землю прямо у селпо.

Но они нравились Савельеву и такими, все нужны под небом. Некоторые из них стали просто советскими, но большинство остались всё теми же людьми странных народностей, что жили по окраинам огромной страны. Бумаги с фотографиями стали давать в семьдесят четвёртом, да не все за ними шли.

Участковый, чьи владения простирались на сотни километров, относился к этому философски.

Он и сам был из местных, оттого знал, что круглые лица его народа неразличимы заехавшим сюда пришельцем. Можно было клеить одну и ту же фотографию.

Больше всего участкового занимало, будет ли война с Китаем. К этому давно шло, и у тех самых гор уже много лет возились военные, обустривая укрепрайон. Военные делали это неспешно, тоже попадая в замедленное течение времени этих мест. Потом как-то всё успокоилось, и товарные со-

ставы перестали снова по железнодорожной ветке к строительству. Но Генеральный секретарь ничего не сказал про отмену войны.

Однажды Савельев увидел в небе светящуюся точку, совсем не похожую на самолёт, а потом участковый объяснил ему, что это неудачный запуск спутника.

Удачные пуски видели редко, но вот если что-то шло не так, то космическое железо отклонялось от курса и сгорало в небе над этими местами.

– А спутники часто падают? – спросил тогда Савельев участкового.

Участковый посмотрел на него подозрительно, но потом решил, что городской человек любит страну не меньше него, и ответил:

– Наши спутники не падают, но иногда случаются аварии. Просто иногда случаются неудачи.

А потом сказал:

– В горах, говорят, искали, но не нашли ничего. Значит, не падают.

Местные приходили к школе и молча садились на доски, наблюдая за работой пришельцев.

Савельеву это не мешало. Отдыхая, он всегда заводил с местными беседы – сначала ему жаловались, а потом поняли, что Савельев не из больших начальников, и жаловаться стали меньше. Но не прекратили совсем, потому что он был

городской человек, и когда вернётся в город, то всё равно расскажет, что жизнь тут нелегка. Неважно кому, главное, что это знание распространится.

Те, кто не жаловался, рассказывали Савельеву про правила жизни, которые заключались в том, что никуда спешить не надо. Лето сменится зимой, не давая много пространства осени, а зима вновь сменится летом, которое в представлении местных включало в себя и весну. Время мерилось тем, когда нужно гнать скот по степи и когда нужно было возвращать его обратно.

Это спутникам, летевшим где-то в вышине, нужно было быстрое время, а скот и его хозяева жили медленно.

Но больше Савельеву нравилось, когда местные рассказывали про Небесного Пастуха, повелителя скота, и то, как Старик Зима сходится с земной женщиной. Но занимательнее всего была история про небесную женщину, что давным-давно спустилась сюда и спит в горах. Главное – не потревожить её сон, потому что когда она встанет...

Но тут старик заклекотал, как птица, и Савельев даже не стал вслушиваться в его речь, только запомнил, как старик несколько раз произнёс непонятное слово «конок».

Вечером он спросил участкового, что это такое, и тот неожиданно раздражённо махнул рукой:

– Это суеверие.

– «Конок» – суеверие?

– Нет, это всё. История про принцессу. «Конок» – это

принцесса.

Участковый ради дочери завёл телевизор, принцессы из фильмов волновали девочку, и она тоже часто говорила, мешая русские слова со словами своих предков: конок милая этильгыз, сепралаи конок.

– Суеверие, – повторил участковый. – Глупости. Люди без ума считают, что конок спустился с небес и спит в горах, а как проснётся и встанет, то старому миру наступит конец. Но мы с этим боремся, да.

Савельев сочувственно улыбнулся. Он раньше работал на Севере и там тоже слушал подобные истории про стражей Нижнего мира и о том, как бог-солнце прячется в землю на полгода, а потом встаёт из Нижнего мира таким же, как и был – золотым кругом.

В этих сказках всё имело свои времена, всё было понятно и симметрично относительно холода и тепла, всё повторялось и длилось при этом вечно.

Иногда Савельеву хотелось их записать, но потом он понимал – незачем. Память его пока не подводила.

Главное – не пить.

И вот Савельев курил, глядя на горы через пустые ещё проёмы окон. Лето выпало дождливым, и горы то проступали из серого тумана, то исчезали.

Но как-то не приехал грузовик со стеклом, и курить пришлось по-прежнему сидя перед пустыми проёмами.

Тогда Савельев увязался с участковым и его друзьями, ко-

торые ехали на охоту в горы.

Он знал, что если останется без дела, то запьёт. Он много пил на Севере и почувствовал в те времена, что ещё один опыт со спиртом будет гибельным. Во время страшного за-
полярной ночью он чуть не наложил на себя руки и те-
перь остерегался любого повода.

Теперь Савельев ехал на грузовике – степь до самых гор
была ровной, как стол. За рулём сидел шофер, а рядом дре-
мали председатель совета и участковый.

Савельев спал в кузове, пока грузовик гнал мимо беско-
нечной запретной зоны.

Местные не ездили к горам не из-за военных, они боя-
лись непонятных богов плоскогорья. Путь к нему лежал че-
рез степь, в которой оставляли мёртвых, чтобы звери уско-
рили их слияние с миром и разметали их кости. Как-то, за-
долго до войны, тут началась чума, и военные встали кор-
донами на дорогах. Мертвых запретили оставлять в степи,
но потом чума ушла, а за ней ушли военные кордоны, и всё
пошло по-старому.

Поэтому местные старались лишний раз не пускаться в
этот путь.

Савельеву дали ружьё, но он тяготился им, как лишним
инструментом, взятым на стройку.

Он приехал сюда с людьми, что были ближе к природе.
Эти местные ещё не успели поссориться с ней и были лише-

ны бессмысленного азарта людей из города. Впрочем, они уже далеко ушли от своего естественного бытия, от всех этих пастухов и принцесс.

Охота была удачной, хотя Савельев только раз бессмысленно выстрелил в небо.

Убитых козлов стащили к костру, и шофёр принялся колдовать над тушами. Рога шли на продажу и подарки городскому начальству, а остальное оставалось у местных.

Савельев, сидя у огня, молча дивился климату: в степи было лето, но тут царила вечная зима. Вокруг, между камней, лежали грязно-белые языки снежников.

Ночью от непривычной пищи у него прихватило живот. Тогда Савельев встал и пошёл по нужде – подальше от потухшего костра, где ещё пахло мясом и кровью. Над ним висело чёрное, полное непонятных звёзд небо, в котором он не узнавал ни одного созвездия.

Отойдя далеко и сделав свои дела, он понял, что заблудился. А в поисках дороги, вернее, своего же извилистого пути по камням забрёл ещё дальше.

Он сразу похвалил себя за то, что оделся не наскоро.

Замёрзнуть он не успеет, но идти дальше – смысла нет.

Савельев присел в распадке и наломал скудных веточек от какого-то высохшего куста. Пламя грело только руки, но до рассвета, рассудил он, этого хватит.

Однако холод тут же накрыл его волной, и Савельев несколько очнулся от забытья.

Освещённая местность показалась ему незнакомой.

Тогда Савельев поднялся на каменистую гряду, но ничего знакомого оттуда не увидел.

Он начал движение в распадок. Неожиданно камень под ногой провернулся, и Савельев скатился ниже, внезапно заскользив по гладкой поверхности.

Он стоял на четвереньках, а под ним было зеркало замерзшего озерца, покрытое налётом каменной пыли.

Неподалёку из льда торчали порванные, будто бумага, куски металла со следами окалины. Он пнул один из них ногой и увидел под ним чистый лёд.

Из-под льда на него глядело спокойное лицо с открытыми глазами.

Она встанет, только прижмись к этим холодным губам.

Савельев снова встал на четвереньки, уставившись перед собой. В нескольких сантиметрах под замёрзшей водой, как портрет под стеклом, лежала женщина. Савельев смотрел на серое лицо горной принцессы, не думая ни о чём.

Лицо было гладким и чистым, поцелуй – и она пробудится ото сна, как в сказках.

Только на лбу осталась морщинка – прямо под краем белой шапочки с ткаными буквами «СССР».

Наконец, Савельев встал и сделал шаг назад. Ничего вокруг не указывало на прошлое, а сколько прошло лет? Двадцать, не меньше.

Тогда он повернулся и ударил ногой по краю снежника, обвалив его. Маленькая лавина чуть не сбила его с ног. Снег лёг толстым слоем поверх льда, и теперь ничто больше не напоминало о принцессе из космоса.

Савельев снова поднялся, уже на другую гряду, обошёл озерцо и увидел, что ночевал в двух шагах от своих товарищей.

Они ещё не проснулись, и только шофёр на его глазах выполз из кузова и стал мочиться в двух шагах от костра. Мёртвые козлы лежали рядом, бесформенные, как кучи тряпья, только круглые их рога упирались в камни, будто якоря.

Его исчезновения никто и не заметил.

Но главное, принцесса за горной грядой спала, и мир был спокоен.

Дарья Бобылева

Тараканий человек

Начинающий дизайнер Улямов больше всего на свете боялся навязчивых воспоминаний и тараканов, причем один из этих страхов являлся продолжением другого. Рыжие, хрусткие твари напоминали Улямову о детстве в далеком городке: с домами барачного типа, тарелками, выкраденными из общепита, где царил древняя бабушка, пресным запахом каши, корочкой под носом и вечерними гопниками. В те времена тараканы реками лились по стенам, рецепты по избавлению мелькали на страницах газет и никогда не срабатывали, а маленький Улямов томился по ночам от избытка или, наоборот, нехватки влаги в организме, упрямо пережидая гулкие постукивания на кухне. Это бабушка методично была выползших на кормежку насекомых, и Улямов терпел до последнего, лишь бы не идти мимо и не видеть. Гора бабушкиного тела, обтянутая кружевом, налипшие на подошву расплюснутые останки и полная бессмысленность ночного истребления – все это намертво застряло в улямовской памяти.

Первым знаком надвигающейся беды стали общепитовские тарелки, замеченные Улямовым среди коробок, сваленных у лифта. Поняв, что новые соседи въезжают в квартиру прямо над ним, дизайнер расстроился. Соседей, этих

невидимых вредителей, топающих и сверлящих, он опасался. Улямов решил подняться и познакомиться, чтобы обозначить присутствие под крепкими ногами новоселов живого человека.

Сосед оказался один, и от его вида воспоминание о гопниках, ждущих у гаражей, холодным комком шевельнулось внутри взрослого, состоявшегося Улямова. Одетый в тренировочные штаны и майку, сосед словно бы вышел на пару минут из дома барачного типа за сигаретами без фильтра. При помощи молчаливого темного грузчика сосед таскал в свое новое логово надежно, казалось бы, забытые Улямовым вещи: полосатые куски ДСП, из которых сложатся потом шкафы и тумбочки с золотыми штырьками ручек, ковровые рулоны, обгрызенные по углам табуретки, связанные вместе клеенки, шторы и еще что-то в неистребимый цветочек. И пустые банки, и палка для дедовской гимнастики, и даже сухо стучащий дверной занавес из бамбука – все было здесь.

Наконец потрясенный Улямов сказал «добрый вечер». Сосед промычал что-то угрюмое и нечленораздельное, потому что был занят, а тут ходили всякие и путались под ногами. И Улямов поспешно удалился, унося с собой мутную тревогу.

С первого же дня сосед принялся существовать над головой Улямова шумно, уверенно и полнокровно. Он словно утверждал свое доминирующее положение – напрямую, по-

просто, как мужик. Хотя бы не сверлил, думал Улямов – и сосед сладострастно ревел перфоратором. Хотя бы не топал слишком сильно – и кумулятивная ходьба сотрясала улямовский потолок. Пусть сверлит – только въехал, пусть топает – имеет право, но лишь бы спать не мешал – и глубоко полночь Улямов вскакивал от футбола или теплогласого блатняка.

И вскоре первый таракан взглянул на Улямова с серебряного кухонного гарнитура в шведском стиле. Улямов взмахнул рукой, и таракан блестящей капелькой убежал за шкаф, а потом высунулся оттуда уже с семьей. Бахрома усов шевелилась между шкафом оттенка металлика и обоями с лаконичным урбанистическим принтом, а побледневший Улямов стоял посреди своей стильной, улетающей из современности прямо в будущее кухни, и биокефир вытекал из кружки, покосившейся в его ослабевших пальцах.

В следующую ночь тараканы гуляли по кухне уже группой. Улямов промазал места прогулок специальным гелем. Тараканы стали выползать и днем тоже. Улямов купил ловушки, похожие на ожидающие своего Матросова крошечные круглые дзоты. Тараканы освоили санузел, коридор, и уже подбирались к спальне. Улямов изрисовал жилище историческими пентаграммами с помощью мелка «Машенька» – и начал мучительно вспоминать народные средства. Зашуршали в голове скорчившиеся от клея газетные вырезки... И Улямов вдруг отчетливо ощутил пропитавший все, вплоть

до этих листков, запах каши, до полупрозрачного клейстера вываренной бабушкиной каши из отвоеванной у мышей крупы. Он огляделся в поисках источника запаха — но увидел только черные тараканы точки на враз потускневших обоях.

Ночью Улямов спал глубоко и тяжело. Ему снилось, что по квартире бродит мертвая бабушка и шлепает тапком. И вокруг каждого расплющенного тельца расцветает плесень, разбегаются трещинки, течет ржавчина, и вот уже начинают проступать битый кафель и цветочки, и у радиотелефона отрастает витой шнур, шагает в свой угол сервант с неприкасаемым хрусталем, и пахнет, пахнет склизкой кашей... Что-то щелкнуло Улямова по лбу, он открыл глаза, и в этот миг остальные тараканы, точно по команде утратив сцепление с поверхностью, посыпались на него с потолка.

Убежденный в том, что насекомые пришли вместе с новым жильцом, Улямов вновь посетил соседа. Пока он рассказывал о тараканьей вакханалии и надежде на понимание, сосед бегал глазками по его лицу и по всей хрупкой городской фигуре. Из его логова пахло теплым варевом, и еще что-то тихо и отчетливо шуршало, как перышком по бумаге.

Не дослушав Улямова, сосед непонимающе хмыкнул и захлопнул дверь. И Улямову вдруг на мгновение стало стыдно, что он отвлекает своими претензиями занятого, не замечающего бытовых неудобств человека, простого работягу в майке-тельнике и тренировочных штанах.

Той же ночью сплоченный тараканий коллектив перешел

к издевательствам над Улямовым. Рыжими волнами насекомые прокатывались по стенам и полу. Даже в темноте Улямов видел, как они ходят строем по его любимым шторам. К пяти утра Улямов не вынес и сбежал на лестничную клетку, спасаясь от хитинового шуршания. Он с остервенением курил, пытаясь заглушить удушающий запах бабушкиной кухни табачной гарью.

Потом позвонила по делу девочка Настя. Она работала персональным помощником у улямовского заказчика, и профессиональная деформация вынуждала ее постоянно ассистировать всем, кто подвернется. Выслушав жалобу сломленного Улямова, она красиво рассмеялась и сказала, что в таких случаях необходимо вызывать специальное существо – тараканьего человека. При этих словах Улямов вздрогнул, представив себе бог знает что. Потом Настя перезвонила и продиктовала номер, по которому следовало обратиться.

Тараканий человек явился тем же вечером. Масштабы нашествия привели его в тихий восторг. На кухне он изловил особо крупный экземпляр и потребовал, чтобы Улямов оценил его мясистость. Улямов не оценил. Тогда дезинсектор сжал пальцы, и белесые внутренности выстрелили вверх и в стороны, оставив плоскую шкурку. Улямов, грохоча ботинками, убежал в туалет. Не то чтобы его сильно тошнило, просто дверь санузла надежно запиралась. «От драпанул, от драпанул!» – бесновался за тонкой стенкой дезинсектор, непонятно кого имея в виду.

Резкий химический запах моментально изгнал тот, коммунально-кухонный, к которому Улямов уже вынужденно привык. Находиться в квартире во время распыления было нельзя, поэтому Улямову все же пришлось покинуть убежище. Тараканы в панике сыпались с потолка и катались по обоям, а дезинсектор, пританцовывая, уже водил распылителем по стенам и потолку. Зажав нос и рот рукавом, Улямов вновь отправился на лестничную площадку.

Через час, выполняя инструкцию дезинсектора, поскучневшего после планового геноцида, Улямов распахнул в квартире окна. На улицу неторопливо пополз запах сладковатой отравы. Все в доме было усыпано тараканами, навски поджавшими лапки. Выжившие в последнем героическом усилии цепляясь за обои, ковыляли наверх – туда, откуда пришли, порадовался Улямов.

Дезинсектор оставил в прихожей несколько баллончиков, из которых следовало пшикать особо стойких членов тараканьего коллектива. Улямов взял один из них, чтобы рассмотреть поближе, и подумал, что зря ведь он так от дезинсектора шарахался, нормальный дядька, просто увлеченный...

И тут сверху раздался страшный грохот, даже в полу отдавшийся болезненной дрожью. Удар, еще удар, потом – утробный бычий рев. Улямов растерянно уставился на потолок, сердце его подпрыгнуло и заныло. Он замер, мучительно ожидая продолжения и страстно надеясь на тишину. И

только собрался с облегчением выдохнуть, как сверху снова грохнуло, и послышался густой крик.

Страх и любопытство, яростно клюя друг друга, вытолкнули Улямова на лестницу и вознесли по ступеням. Дверь угрюмого соседа оказалась приоткрытой, и оттуда, из яркой щели, доносилась возня. Улямов, откинувшись корпусом назад, будто сам себя все еще надеясь остановить и оттащить, приблизился и заглянул в щель.

Сосед лежал на полу в прихожей и тяжело ворочался. Тараканы, шелестящим ковром покрывавшие пол, вливались в него, как паломники в храм. Нескончаемой хитиновой толпой они текли в его уши и рот, заползали под вечный тельник и под штаны. Улямов вдруг отрешенно вспомнил необъяснимой длины очередь в мавзолей, поразившую его во время первой поездки в Москву наравне с «Детским миром» и совершенно настоящим Кремлем.

Улямов был бы рад заорать и умчаться куда глаза глядят. Но сумел только отрыгнуть тошноту ужаса сдавленным «ох-х...». Сосед услышал его и рывком приподнялся. Бледное небритое лицо запрокинулось вверх, к Улямову. Вместо глаз у соседа были здоровенные, гладкие тараканьи спинки, а из ноздрей высывались, шупая воздух, жесткие усики. Сосед распахнул рот, но вместо прежнего рева раздалось громкое шуршание, звук яростно трущихся друг о друга хитиновых пластинок.

Тут Улямов обнаружил, что все еще держит в руке бал-

лончик с инсектицидом. Он поспешно выставил оружие перед собой и нажал на кнопку распылителя. Сосед забился, зашуршал, захрипел и схватил его за ногу. Улямову почудилось, что вместе с пеной из соседского рта лезут кончики огромных, толстых усиков. Древним бабушкиным жестом он сдернул с ноги тапок и ударил по ним. Потом ударил еще, и еще, и свирепо полил инсектицидом. Сосед затих. Тараканы тоже. Улямов потрогал его ногой и перевел наконец дух. Коренастое тело было мягким, как печеночная колбаса.

Не выпуская из одной руки баллончик, а из другой тапок, Улямов медленно спустился к себе. Пора было закрыть окна и навести наконец порядок в квартире.

Марина Воробьева

На границе между бегом и сном

Ты так устал, что не можешь заснуть. Ты лежишь в постели, за окном светит фонарь так ярко, что ты не знаешь, ночь ли еще или утро, ты не будешь вставать, чтобы посмотреть в окно, ты не оставишь границу сна, ты не оставишь своего поста на подушке, ты обязан отдохнуть, завтра тебе рано вставать, завтра снова бежать и успевать, и делать сразу сто пятнадцать дел, которые ты сам на себя взял.

Завтра или сегодня? Чтобы это узнать, надо пошевелиться, надо дотянуться до мобильного, посмотреть на часы, нет, лучше встать и посмотреть на фонарь. На тот самый фонарь, который в небе. Или на небо вокруг фонаря? Когда-то в прошлой жизни небо вокруг фонарей в парках было темно-бордовым, на фонарях сидели вороны и по фонарям стекало белое.

Если белое, то это свет, утро, а если бордовое – нет, стоп, ночь какого-то другого цвета. Очень ярко светит фонарь, и если долго на него смотреть через ресницы, уперевшись лбом в стену и не поворачиваясь к окну, можно увидеть, как кружится снег в свете фонаря. Да, ты знаешь, сейчас лето, это не снег, а мухи или птицы, те существа, которым нет названия, они живут там, где кончается фонарный свет и начи-

нается тот цвет, название которого ты не можешь вспомнить, и они умеют превращаться в головастики.

Нет, ты о чем, тут не день и не ночь, завтра у тебя нет никаких дел, какое такое «завтра». Ты не в своей постели, ты на больничной койке, ты не чувствуешь тела, боли нет, ты не знаешь, как сюда попал, но это точно больничная койка, вот кнопка вызова сестры. Надо поднять руку, дотянуться до мобильника.

Нет, стоп, никакого мобильника здесь нет, дотянись до этой проклятой кнопки. А у тебя вообще есть руки?

Ты уже когда-то был в больнице, тогда тебе было лет пять и ты был без сознания, а потом очнулся и увидел свою комнату и настенную лампу над спинкой кровати, и свой рисунок на стене, и ты закричал «ба-буш-ка!». Когда тебе было пять или четыре, ты каждое утро начинал с протяжного «ба-буш-ка» и она приходила и говорила «доброе утро, дорогой». Она пахла кухней и свежим снегом, она всегда пахла свежим снегом.

А в тот раз комната рассеялась, растаяла, и вокруг оказалась чужая комната и спящие синие младенцы в люльках над тобой. На твой крик пришла медсестра и сказала, чтобы ты сейчас же перестал орать, вот малыши же не орут, а они тоже в больнице.

Надо вспомнить, хотя бы вспомнить, кто ты, как ты здесь оказался, открыть глаза до конца, до рези от белого света, до боли, чтобы знать, что живой.

Ты вспоминаешь вдруг, ты где-то читал, что если не можешь проснуться обратно, ты видишь свет и надо идти, идти к тому фонарю или к настенной лампе, к тем существам, холодным, как снег.

И ты понимаешь, что не хочешь возвращаться, не хочешь обнаружить, что тебе уже нечем тянуться к кнопке звонка, или уже незачем, ты не хочешь никакого холода и никакой лампы, тебе нравится здесь, в полном неведении, в полной пустоте, ты не можешь видеть, что там, за ресницами.

Ты не станешь вспоминать, что все же случилось вчера, или не вчера, как ты сюда попал и есть ли у тебя руки, ноги и все, что должно быть, всего не упомнишь. У тебя завтра сто пятнадцать дел, которые подождут, а пока под ресницами показывают цветное кино.

Цветные бесформенные кляксы вытекают одна из другой, становятся мультяшными человечками, у одного из них длинная борода до пола и он стоит на помосте, а все ему кричат:

– Горчица! Горчица!

Кого-то так звали по ту сторону ресниц, кажется, твоего пса.

Горчица действительно горчичного цвета, как твой пес, а синее пятно, кажется, маленький мальчик, спрашивает его – Скажите, пожалуйста, Реббе, что будет, если громко закричать и нарушить тишину на границе между бегом и сном? Все поднимают пальцы к губам, все говорят «Шшшшшш», а

синий мальчик взлетает и кричит во все горло. Он кричит, и Горчица вслед за ним безудержно радостно лает, и все пятна перемешиваются и взрываются, мальчик из синего пятна кричит твоим голосом, и ты просыпаешься в своей кровати. Сейчас ты откроешь глаза до рези, до боли, ты откроешь, а твоя комната, и фонарь за окном, и сто пятнадцать дел на завтра никуда не исчезнут. Ты помнишь, что еще вечером хотел выспаться получше, чтобы переделать каждое из них, одно интереснее другого, а в холодильнике у тебя твой любимый салат, оставшийся от ужина, и его можно съесть на завтрак, и еще у тебя есть кенийский кофе, и что тебе стоит заснуть и проснуться утром.

Но ты не спешишь убедиться, что ты здесь, и не торопишься заснуть, ты смотришь сквозь ресницы на свет фонаря, уткнувшись в стену, тебе хочется еще немного побыть в этой пустоте, плыть по ней, оставаясь на месте.

Шшш, не кричи, мальчик-клякса, тебе тоже нечем дотянуться до мобиля, ты никогда не узнаешь, день сейчас или ночь, не кричи.

А кофе уже кто-то варит, запах проникает в комнату, кофейный запах громче крика, прозрачнее небытия.

Как хочется кофе. Не кричи, пожалуйста, не кричи.

Виктор Ген

Недосыгаемая женщина матроса Бабенко

Она была в тельняшке и шла прямо на меня. У неё была грудь и что-то светлое на голове, наверное, пушистые волосы. Такого в округе ещё не бывало, и в моей прошлой жизни тоже.

«Скажи, мальчик, где мне найти Бабенко, матроса Бабенко?».

Я знал, кто такой Бабенко, и показал ей куда идти.

И она пошла уверенной походкой, а я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за одноэтажным флигелем бывшего барского дома, нашего пионерского лагеря, вокруг которого велись какие-то строительные работы.

Трудились там матросы, большие весёлые дядьки, которые отвоевались, а их со службы не отпускали. Они говорили, что служат седьмой год.

Матросы научили меня подаче в волейбол, когда стоишь спиной к сетке, и так, чтобы мяч пролетал низко-низко над сеткой.

Мне было восемь лет, шёл 1946 год, и я узнал, как выглядит настоящая женщина.

Потом, в жизни иногда попадались такие.

И каждый раз они были завораживающие и непредсказуемые, как пантеры. Подкрадывались неожиданно и занимали всё пространство вокруг меня.

Анатолий Головков

Madam

Когда случается проезжать мимо этого дома, я останавливаю машину и смотрю на четвертый этаж, где гипсовые ангелы поддерживают балкон, а жимолость ползет по чугунной решетке. Вон мое окно, а рядом – Старушенции; нынче они закрыты стеклопакетами и жалюзи, там живут другие, иные, чужие...

Душа нашей коммуналки была распахнута настежь, и по ней гулял сквозняк мира. Кроме нас с нею в квартире жила семья татар-дворников. Их комнаты были уставлены горшками то ли алоэ, то ли каланхоэ, я их вечно путал. Дворники требовали от соседей две вещи: чтобы мы вечером не занимали конфорки плиты, в час, когда матушка-дворничиха делала плов, и не шумели, когда они молились аллаху.

Кухню делила стена. По одну сторону готовили, по другую иногда ели.

Я был ветрен, взрывчат и амбициозен, Старушенция терпима к быту, спокойна, прямо, как Ахматова, и похожа на Ахматову в возрасте (такой же нос с горбинкой). К тому же она несла в себе какую-то тайну, которую мне, похоже, так и не суждено было разгадать.

С дворниками она общалась исключительно по поводу

счетчика. Я с ними ругался из-за очередной уборки.

Как-то, послушав эти препирания, она заметила:

– Никогда не пытайтесь спорить с чернью. Это понимали еще в древнем Риме.

– А что делать? – защищался я. – Дворники настучат ментам, и меня выгонят. Я же без прописки.

– Когда вас в следующий раз спросят насчет мусорного ведра или ершика для туалета, сделайте равнодушное лицо и ответьте как можно более неопределенно: «Да, да, конечно...» Так вы заставите себя уважать. Давайте отрепетируем.

– Да-да, конечно, – выпаливал я, краснея.

– Нет не так, – учила она. – Не «да-да»! И у вас чересчур гордое выражение лица. Вы пытаетесь поставить себя выше черни, она этого не прощает... Представьте, что вы корова, жующая сено. При этом у вас мечтательные голубые глаза. Так что, ради всего святого, не спешите и промычите как можно радушнее: да... да... коне-е-чно...

По утрам она стояла спиной к стене для осанки и с ухмылкой наблюдала, как я жарю хлеб с ломтиками бурого сыра. Меня выгнали из очередной редакции. А хозяева комнаты брали не только за квадратные метры, но также за ангелов под балконом и за вид на конфетную фабрику «Марат», от которой садистски несло карамелью. Чтобы расплатиться за жилье, приходилось день-деньской сживать в «Союзинформкино», смотреть фильмы и писать рецензии на радио по 7 руб. за штуку. Еще отвечать на письма читателей «Юно-

го натуралиста» или «Моделиста-конструктора».

«Уважаемая редакция, – писал какой-то мальчик. – Я купил на рынке рыбку с одним хвостом – хвостом и другим хвостом – вместо головы. Как ее кормить?»

«Дорогой и далекий друг, – серьезно щелкал я на машинке, – лучше всего отнеси эту рыбку тому, кто тебе ее продал. А если ты уже привязался к ней, постарайся как можно скорее забыть. Тебя обманули. Рыбку с двумя хвостами накормить невозможно. С пионерским приветом, внештатный сотрудник...»

Одно такое безумное письмо – 20 копеек. Норма – 40 писем в день. Но на еду все равно не хватало. Я был хронически голоден. Оставалась последняя надежда, на девушек.

Заслышав мои шаги по коридору, Старушенция выплывала из своей комнаты с листками, прижатыми серебряной ладошкой на пружине к антикварному сердолику, и докладывала:

– I am sorry, sir!.. Вам звонила девица, которую я запомнила по волосам цвета вороньего крыла... Ну, та, с одесской колбасой...

– Это Наташка.

– Да. И еще одна прелестница. Помните, она приносила синюю курицу?..

– Синюю? С желтыми ногами?

– Именно так, сэр! Я бы сказала, с пугающими желтыми ногами!

– Блондинка?

– Послушайте, мне все равно. Но если вы не способны вникнуть в корни вещей, то научитесь хотя бы смотреть в корни волос. Они же крашенные.

– Мне неловко, что мои подружки доставляют вам столько хлопот.

– Ах, перестаньте, дорогой, – философски продолжала она. – Разве в этом дело? Запомните: связаться с женщиной можно за пять минут, а чтобы расстаться с ней, нужны годы.

И мы расходились по комнатам. Я вставлял очередную закладку в машинку и стучал: «Юный друг! Действующую модель водородной бомбы сделать невозможно, так как...» В этот момент из-за стены раздавались гаммы: моя почтенная подруга садилась за пианино. Она шагала пальцами по клавишам, как слепой по болотным кочкам, непрерывно ошибаясь, но упорно начиная вновь и вновь. У бедняжки совсем не было слуха. Не выдержав как-то, я постучался к ней, очутившись в комнатке, похожей на кубрик, уставленной книгами до потолка. Она уступила мне место за пианино.

Я сыграл простенькую инвенцию Баха, которую помнил со времен музыкалки. Она послушала, задумалась и вдруг предложила, чтобы я научил ее играть на фортепиано в обмен на уроки английского.

– Зачем мне английский?

– Прошу прощения? – ее брови от возмущения поползли вверх. – Ничего глупее я в жизни не слышала! – Она достала

с полки яркий том. – Читали Вульфа?

– Вирджинию Вульф?

– Нет, сударь мой, Томаса Вульфа, «Взгляни на дом свой, ангел». – Я, конечно, не читал этот роман даже в переводе. – К тому же, по моим наблюдениям, у вас явные разногласия с нашей советской родиной. Я думаю, что советская родина мечтает избавиться от такого, извините, сына, ничуть не меньше, чем вы от нее. За что вас выгнали с работы?

– Они прочли мой очерк, сказали, что в СССР одиночества не бывает, и я напечатался во Франции. Правда, пока ничего не получил.

– Вот видите! И как только вы пересечете границу...

Перед уроком английского она приглашала меня не на завтрак, а на breakfast, мило улыбаясь и спрашивая, не завалялся ли у меня батон. Зная об этом, я покупал хлеб на рассвете, когда она еще спала. На столе появлялись царские угощения – от камамбера до ветчины, в кофейнике пенился кофе, в кувшинчике трепетали сливки. Мне, молодому коблу, требовалось немало сил, чтобы удержаться, не сгрести все в тарелку и не сожрать в одну секунду. Относительное с нынешней точки зрения изобилие еды на ее столе объяснялось просто: дочь с мужем, дипломаты, жили в Швейцарии. Они ей почти не писали, зато аккуратно высылали чеки, и она отоваривала их в магазинах для иностранцев.

Стоило взяться за вилку или лопатку, она требовала называть продукты по-английски. Я честно пытался. Но сущий

мой язык проваливался в горло вместе с ломтиком сервелата.

– Простите, я не могу, мэм!

– Лучше, мэдэм. И давайте, пожалуй, начнем с простой английской благодарности, *thankyou*. Прижмите, пожалуйста, Анатолий, язык к зубам изнутри, как я вас учила.

Я послушно прижимал, не спуская глаз с красной икры, лососины и нездешнего, ноздрястого, с печальной швейцарской слезою, сыра. От голода и страха мой язык делался деревянным.

– Боже мой, – говорила она, сдавшись и намазывая на мой тост произвольный слой икры, – что это с вами?! Даже негры, если захотят, умеют сказать *thankyou*! Давайте еще раз!..

Она знала несколько языков, но французский и английский в совершенстве. До выхода на пенсию она преподавала для военных. Когда утомленные офицеры начинали дремать на ее уроках, она толкала слушателя в бок и говорила певуче: майор такой-то, представьте, что ваш сосед-полковник – спящая красавица. А спящую красавицу можно разбудить только поцелуем. Так что немедленно поцелуйте полковника Сидорова и скажите, чтобы пробуждался. По-английски! Это приказ! Иначе вас обоих отчислят. И майор целовал.

Через месяц я выучил английский алфавит и пару десятков фраз, а *Madam*, к превеликому ее удовольствию, одолела по нотам сонатину Моцарта для первого класса музыкальной школы.

Однако мы нынче не ели, а вкушали. Не гуляли, но совершали прогулки. Выходные теперь были уик-эндами. Я по-прежнему сидел без работы, и времени было достаточно, чтобы выяснить многие странные совпадения.

Ее муж, американец, который приехал в Москву еще до войны, работал в какой-то закрытой конторе с радиоактивными изотопами. Их обоих едва не посадили за этот роман. Когда она потеряла его, то больше не вышла замуж, хотя претендентов было хоть отбавляй. Она говорила, что не смогла бы воссоздать тот мир, который построили они с Джеком. Теперь я думаю, что многое у них было как в фильме «Английский пациент»: и танцы под патефон вместо утренней зарядки, и секс «в час сиесты», и свечи, а иногда кальвадос из посольского магазина у темной реки.

Она сожгла всю одежду покойного мужа, не стала вывешивать его портрет в рамке, но оставила старую шляпу с широкими техасскими полями, которую запрещала мне примерять.

– Вы можете прожить несколько жизней, но никогда не станете Джеком Уолтером. Так что и его шляпа вам ни к чему.

В честь него она разучила на пианино старое английское танго, играя его одним пальцем и напевая низким контральто: «Когда-нибудь он вернется ко мне, а пока его сердце за рифами».

Джек умер от радиации в тот день, когда я родился. В тот

же летний день, только на 40 лет раньше, родилась она. На день рождения я не осмеливался приглашать в дом гостей, мы оставались вдвоем и сначала ехали на Донское кладбище.

Я помогал ей прибрать могилу, а затем она просила оставить ее одну. Она опускалась на колени перед черным лабрадором с выбитыми на нем стихами Томаса Элиота. Каждый год в этот день она приносила мужу две белых лилии и осколок пластинки с этим английским танго. Она разбила ее на множество осколков, чтобы музыка не доставляла ей боль, говоря, что когда осколки закончатся, она наконец соединится со своим Джеком. Много позже, когда она ушла, в шкатулке еще оставалось несколько обломков пластинки.

Я разглядывал могилы графов и князей. После ритуала она оживлялась, мы выпивали по рюмочке, совсем по-русски, закусывая соленым огурцом; сквозь пудру на ее щеках проступал молодой румянец.

– Слушайте, – как-то сказала она мне, – я рассказала Джеку про вас.

– И что же он ответил, Madam?

– Джек сказал, что вы не так безнадежны, как мне казалось. Он кое-что шепнул мне о вашем будущем. Только не смейте меня искушать, я вам все равно ничего больше не скажу.

– Не сердитесь, я не посмею.

Она оглядела меня орлиным взором.

– Еще я попросила у него разрешения подарить вам пе-

пельницу, которую он преподнес мне на Рождество 1940 года. Вы, когда курите у телефона, мой друг, вы роняете пепел на пол. Татарам это не нравится.

Бронзовая лягушка-пепельница, ручная, с одним рубиновым глазом и отломанной лапой, до сих пор стоит у меня на письменном столе.

Она перевернула мою жизнь.

Она научила меня выживать где угодно, хоть в подвале, хоть в необитаемом острове, хоть в тюрьме.

Потому что мечтала, чтобы я стал таким же как она.

«Если мир внутри тебя достаточен, – учила Madam, – с ним никогда не будет одиноко; это то, что ты носишь с собой и что никто не в состоянии у тебя отнять».

После общения с нею держава казалась мне еще более дикой и чужой, чем раньше. Наступил день, когда я был готов пойти в любое посольство, чтобы убраться куда подальше. И вдруг она сказала мне: нет. Я не понял почему. И зачем ей в таком случае было так долго мучиться со мной из-за английского?

Она зашла к себе в комнату и вернулась со стопкой машинописных листов, с моим рассказом, который я дал ей почитать месяц назад. Поля были испещрены карандашом, листы измяты и потрепаны.

– Вот, – сказала она по-английски, ткнув пальцем в рукопись, – вы хотели узнать, о чем я еще говорила с Джеком?

Об этом. Он сказал, что лучше бы вам остаться. Если хотите, чтобы вас не просто читали, а прочли, будьте с этими людьми.

Когда хозяева из числа этих людей все же выперли меня, и я покидал коммуналку навсегда, она вручила мне первый том Монтеня и горящую свечу в подсвечнике. Она сказала, что второй том мне захочется достать, когда я осилю первый.

Так оно потом и произошло.

Ася Датнова

РЖД

Плацкартный вагон в испарине. Душно, тяжело, пахнет ватренными яйцами, носками и хлоркой. На верхних полках лежат накрытые простынями, ступни выставив в проход, как в морге. Кажется, едем прямо в рай. И женщина с младенцем, и старик с костылями – все мучаются привычно и одинаково.

Северные поезда прохладные, подают чай в подстаканнике с лимоном, кофе, на Питер – растворимый, на Калининград – заваривают. Иногда на столе вазочка с цветочной веткой. Биотуалеты. На ЮВЖД чай дадут без лимона, вагоны раскалены, ходят бабушки, продают пояса из собачьей шерсти. Окна открываются редко, туалет запирают. Чем ближе к югу – тем больше оголяются вагоны, оголяются к цветистому, богатому деталями югу, не к скупому северу, становясь просто средством передвижения.

Москва – Душанбе

Занавеси на окнах голубые с длинной бахромой, сшитые таким образом, что нельзя их раздвинуть – только, скомкав, задрать наверх. Постельное белье дрянное, искусственного шелка, с блестящими полосами, от старости в катышках. Из матрасов лезет вата. Ковер, должный лежать в проходе, рачительно свернут и убран на полку. Уборщица в халате и шароварах носит в руках по вагону две банки пива: продает. Едет женщина в наверхенном на голову платке с люрексом, везет стайку детишек, едят лепешки. Проводники оба в возрасте, один старше. Седой бобрик, сам гладкий, толстый, лицо цвета йода. Второй долговязый, лет сорока пяти. Униформа на обоих висит, из рукавов торчат мослы рук, долговязый поворачивается – на задку форменных штанов давняя подпала от утюга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.